

Среди животных и растений

Во мгле природы, по мелкорастущему лесу шел человек с охотничьим ружьем. Охотник был немного рябой в лице, но все же красивый и еще пока молодой. В это время года в лесу стоял туманный дух от теплоты и сырости воздуха, от дыхания развивающихся растений, от тления погибших давних листьев. Видно было плохо, но итти одному, что-нибудь незначительно думать или, наоборот, забыться и поникнуть — было хорошо. Лес рос по склону невысокой горы; меж худых, маленьких берез часто лежали большие камни, почва была малопродуктивна и бедна, — то глина, то серая земля, — но деревья и трава все равно притерпелись, и жили в этой земле как умели.

Охотник иногда приостанавливался; он слышал тонкий, разноречивый гул жизни мошек, мелких птиц, червей, муравьев и шорох маленьких комьев земли, которую мучило и шевелило это население, чтобы питаться и действовать. Лес походил на многолюдный город, в котором охотник еще ни разу не был, но зато давно его воображал. Лишь однажды он проезжал Петрозаводск, и то мимо. Вопли, писк и слабое бормотанье наполняли лес, может быть, означая блаженство и удовлетворение, может быть — гибель; влажные листья березы светились в тумане внутренним зеленым светом своей жизни, незаметные насекомые колебали их в тишине преющего земляного пара. Какое-то далекое, небольшое животное кротко заскулило в своем укрытии, его никто там не трогал, но оно дрожало от испуга собственного существования, не смея предаться радости своего сердца перед прелестью мира, боясь воспользоваться редким и кратким случаем нечаянной жизни, потому что его могут обнаружить и съесть. Но ведь и скулить тому животному тоже не надо: его заметят и пожрут безмолвные хищники.

Свисток паровоза, тонкий, далекий, разрываемый вихрем скорости, раздался в лесах и в тумане, как жалобный голос бегущего измученного человека. «'Полярная стрела!' произнес охотник. — Она далеко бежит, — там в вагонах музыка играет, там умные люди едут, они розовую воду пьют из бутылки и разговор разговаривают».

Охотнику стало скучно в лесу; он сел около пня и поставил ружье между ног наготове, желая убить животное или птицу — что только покажется. Ему было злбно, что он не знает науки, не ездит в поездах с электричеством, не видел мавзолея Ленина и только раз нюхал духи из флакона у жены начальника десятого разъезда. Ему вот приходится бродить в туманном лесу — среди насекомых, растений и некультурности, когда там мчатся вдаль роскошные поезда. «Хоть зверь, хоть птица — кто явится, того и убью!» — порешил охотник. Но вокруг него по-прежнему шумели и жужжали одни мелкие, тщедушные существа, негодные для боя. Под охотником ползали усердные, обремененные хозяйственными тягестями муравьи, как маленькие добропорядочные люди: гнусная, в сущности, тварь с кулацким характером —

всю жизнь они тащат добро в свое царство, эксплуатируют всех мелких и крупных одиноких животных, с какими только сладят, не знают всемирного интереса и живут ради своего жадного, сосредоточенного благополучия. Сейчас они растаскивали тело старого скончавшегося червя: мало того, что они тлю доят и молоко пьют, они и чужую говядину любят. Однажды охотнику пришлось видеть, как два муравья волокли от железной дороги железную стружку. Им и железо, оказывается, нужно. Они весь мир собирают себе по крошке, чтобы получилась одна куча. Охотник потоптал ближайших муравьев и ушел с этого места, чтобы не расстраивать больше своего характера. Он был похож на своего отца — тот на охоте тоже всегда сердился, воевал со зверями и птицами, как с лютыми врагами, тратил злобу сердца в лесу без остатка, а домой возвращался добрым, чувствительным, семейным человеком. Другие люди на охоте, наоборот, ходили по траве с нежной душой, били зверя с любовью и дрожащим наслаждением ласкали рукою цветы и деревья, а дома, среди людей, жили с раздражением, тоскуя опять по природе, где они чувствовали себя начальниками, благодаря ружью.

— Охота — либо глупость, либо бедность, Иван Алексеевич! — говорил ему отец (после исполнения сыну восемнадцати лет отец его начал называть по имени-отчеству). — Ты видал: сидит человек один с удочкой на озере, нанижет червяка и обманывает безумное животное в воде: стервец! А другой — взял ружье и пошел в чащу: никто, дескать, мне не нужен, живите себе без меня, а я один прокормлюсь, я один сам собой доволен... ему собака — друг; а не мы с тобой...

Когда Иван Алексеевич был мальчиком, отец ему показывал лица убитых зайцев и птиц — они были кроткие, и иногда даже умные, и есть их не хотелось, но потом приходилось.

Отец ел добытых животных и птиц экономно, разумно, приучая к тому же детей, чтобы погибший дар природы превращался в человеке в пользу, а не пропадал напрасно в отхожем месте. Он советовал приобретать из мяса и костей убитых не одну лишь сытость, но и хорошую душу, силу сердца и размышления. Если же не можешь брать из птицы или зверя его лучшее добро, а хочешь только напиться, тогда ешь одну траву во щах или хлеб с тюрей. Отец считал, что зверь и птица — дорогие души на свете, и любовь к ним — это экономия.

Иван Алексеевич поднял ружье. Что-то пошевелилось в небольшой, ближней траве. Он прошел туда немного. Там показался маленький заяц, еще детеныш; он сидел почти по-человечески и быстро жевал травинку, помогая себе передними лапками, потом он утерся и стал часто дышать чистым, здоровым воздухом; он, наверно, утомился, добывая себе пропитание с малолетства: родители его, должно быть, погибли, и он живет один, сиротой. Охотника заяц не замечал или не понимал его значения. Оправившись, заяц скакнул и исчез. Иван Алексеевич не убил его: он слишком мал и почти бесполезен для пищи, и жалко, потому что он еще ребенок, а уже труженик. Пускай подышит.

Вскоре Иван Алексеевич вышел за поляну. Тот же мелкий, пухлый заяц-младенец рылся там лапками в земле, добывая себе какие-то корешки или оброненный, прошлогодний капустный лист. Он занимался заботой о своей жизни неумолимо, потому что ему надо было расти и есть хотелось непрерывно. Поев то, что нашлось

в земле, заяц немного опорожнился и начал играть со своим хвостиком, тремя лапками с четвертой, затем с остатком мертвой древесной коры, с кусочками своих испражнений и даже с пустым воздухом, ловя его передними ножками. Отыскав водяную лужу, заяц напился, осмотрелся вокруг влажными сознательными глазами, потом лег в стороне в ямку, свернулся в тепло собственного тела и задремал. Он уже перепробовал все наслаждения жизни: ел, пил, дышал, осмотрел местность, почувствовал удовольствие, поиграл и уснул. Во сне ему тоже хорошо: животные часто, почти всегда, видят счастливые сны; их ум не может освободиться от впечатлений переживания жизни, он слаб и легко поддается обману воображения снящейся радости, потому что беспомощен и ничтожен во сне. Иван Алексеевич еще с детства помнит, как он с удивлением, осторожно рассматривал спящих собак, кошек и кур. Они жевали ртом, произносили блаженные звуки, иногда приоткрывали ослепшие от беспомысленности глаза и снова закрывали их, шевелились, кутались в тепло своего тела и стонали от сладости своего существования.

Охотник подошел к маленькому зайцу, поднял его и положил себе за пазуху; заяц пискнул и не проснулся, он лишь еще больше свернулся и пригрелся к телу человека, хотя сам был парной и горячий.

* * *

На Лобской Горе, как созвездие бедных звезд, стояла деревня в четыре избышки. Одна изба топилась, из нее шел дым в воздух, а на крыше другой избы сидел человек, размером в половину самой избы, и смотрел оттуда на Онежское озеро, в далекое место. Человек на крыше был в больших годах, но бритый, с оскобленным тщательно лицом, как зажиточный или ученый. Он совмещал свое колхозное положение со службой в Академии Наук в качестве пункта — для измерения воды и бури. Сейчас он глядел на озеро, наблюдая там ветер, либо какие-то другие научные признаки и события. Иван Алексеевич тоже хотел бы иметь такую должность, но там бриться надо, писать и разговаривать...

В той деревне избы были маленькие, небогатые и некрашенные, но зато в них уютно бывает жить, и поэтому они кажутся достаточными, хотя жилища не большие. Охотник пошел в самую худую, невидную избу. Деревянная крыша той избы сопрела и поросла ветхим мхом, нижние венцы погреблись в землю, точно возвращаясь обратно в глубину своего родного места, и оттуда, из самого нижнего тела избышки, росли уже две новые слабые ветви, которые будут могучими дубами и съедят когда-нибудь в своих корнях прах этого изжитого, истраченного ветром, дождями и человеческим родом жилища. Избушка стояла на своем пустом дворе, который был огорожен кольями, камнями с берега Онеги, сложенными внаброску, ржавыми листами кровельного железа, принесенными сюда, наверно, бурей из дальнего города, и прочим дешевым или случайным материалом. Но эта огорожа уже не держалась, камни разваливались, колья накренились, издавна изморившись и сотлев в почве. Изба и подворье были похожи на вдове сиротское подворье, однако там жило большое, здоровое семейство — нерадивое, должно быть, либо несогласное между собой. Но это неверно: старший человек на дворе, Алексей Кириллович, — отец Ива-

на Алексеевича — делал себе карьеру на лесопильном заводе и надеялся вскоре построиться заново, а старую избушку оставить на съедение под корень молодого дуба. Старик держал расчет на лучший век жизни, а прожитое время решил пожалеть и забыть.

Дома сидело в сборке все семейство. Отец налаживал в действие радио, которое он получил в премию месяц приблизительно тому назад. На самом деле он взял од-ноламповый радиоприемник на выплату через завком, а дома — ради жены — ска-зал, что радио дали ему в премию; хотя старик был сторожем на заводе, но он тоже хотел почета в семействе и мечтал о всенародной знатности. Однако его старуха ско-ро узнала всю правду, за какую честь получено радио, — разве что скроешь от ста-рой, опытной жены.

Иван Алексеевич положил зайчонка под печку и взял на руки свою десятиме-сячную девочку — дочку; она уже могла становиться на ножки и училась самостоя-тельно передвигаться, лет через пятнадцать она сама будет невестой и тоже детей примется рожать, а пока пусть сейчас растет и отдыхает на родительских руках.

— Что ж одного зайца-то принес? — сказала молодая жена Ивана Алексееви-ча. — У тебя семейство есть: надо думать ходить. Там теперь белочки есть, рябчики, тетерева живут, а ты зайчонка на игрушки принес. Пистоны только тратишь, лучше б обновку в дом купил...

Иван Алексеевич приуныл в этих домашних условиях. Он воображал себе даль-ние курьерские поезда, свет электричества за шторами вагонных окон, радостную музыку, играющую внутри поезда, которую он слышал иногда, нажимая на проти-вовес стрелки. Там была наука, слава, высшее образование, метрополитен, а здесь лес, животные, семейство, обычная вещь, но нужно пока терпеть и не ссориться.

— Бабы спокон века зажиточность любят, — сказал отец Ивана Алексеевича, — чтобы всего было много: и белок, и рябчиков, и материя в сундуке — по-теперешне-му они социалистки...

И старик сразу пустил радио, чтобы слышать весь прочий посторонний мир, где происходит всемирная история, где звучат голоса великих людей, которые трясут всею судьбой. Вначале старый человек несколько не доверял радиоаппарату: едва ли он научный, — разве можно за тысячу верст передавать пустяк в виде звука, наука не может заниматься такой шуткой, наука — дело важное, а радио это случайность, и, кроме того, радио не могло писать, оно не оставляло документов, поэтому не было достоверности, что картонная трубка говорит правильно. Однако, не так давно отец Ивана Алексеевича лично съездил в Петрозаводск и там подал прошение, чтобы его допустили сказать по радио несколько звуков; его действительно допустили, а он за-ранее велел своей старухе неотлучно слушать его каждый вечер, когда говорят всякие сведения и новости. Старик сказал старухе из Петрозаводска: «Это я, Алексей Кирил-лович Федоров, житель деревни Лобская Гора, чтобы ты не думала, что это не я, это я, радио это правда, сейчас я тебе покашляю — ты сразу меня узнаешь (здесь Алек-сей Кириллович действительно покашлял раза три), — слышишь? Помнишь, когда я на тебе женился, ты вдовой тогда была, а я батраком у финна-кулака, теперь он

классовый враг, ну кто же тебе это говорит, как не я, — стало быть я». Но в Лобской Горе Алексея Кирилловича услышать в тот день не могли: радио испортилось, в нем что-то засохло или лопнуло. Старуха его, правда, сидела у рупора без отлучки и ей иногда казались какие-то звуки из трубы, а это был обман. Вернувшись из своего проверочного путешествия, Алексей Кириллович не стал раздражаться, что его не слыхала его контрольная старуха: «Все равно я теперь верю, — сказал дома старик, — а кто не верит — того прочь, тот классовый враг». «Да, уж видно так, — согласилась старуха. — Потри мне завтра спину в баньке, что я слушала-слушала тебя, оглохла вся».

Радио теперь заиграло. С обмиранием сердца слушали люди в избе далекую роскошную жизнь. Сначала говорил пожилой, затем молодой, играла музыка таинственную песню, пела степная дудка и звонил колокол.

Потом хор девических голосов начал песню о героическом социализме, о счастливых людях, об интересной жизни. Девицы пели на большом расстоянии отсюда, но все равно чувствовалось, что нужно жить в блаженстве, а не в нужде и мученье. Иван Алексеевич ласкал свою дочку, он гладил ладонью ее головку, грудь и живот, в котором когда-нибудь зачнутся и вырастут ее дети. Они будут высшие люди, а он, их дед, ничто — человек: он стрелочник с лесного разъезда. Ребенок тоже слушал пение и музыку, а жена Ивана Алексеевича тут же делала хозяйственные и культурные выводы, трудясь у печной загнетки:

— Ишь, люди как живут: слышно отсюда... И обновки покупают, и дома строят, и сладко едят, и в театры ходят, танцуют, поют, науки изучают, в Черном море купаются, а здесь только и видишь заботу да работу...

— И верно, что так! — согласилась старуха, мать Ивана Алексеевича. — Другие мужики, поглядишь, и за то, и за другое примутся, глядь — и копейка в доме лежит... Теперча — не старое время, работают мало. Пришел с работы — чего дома сидеть! На сплав ступай, в бараки наведайся — там и печки новые кладут, и пни копают, и на кухню всегда черный мужик нужен... А то как же жить-то! — старуха разошлась характером и всем телом изводилась посредине избы. — А наши-то как явятся, так и расселись: в гости пришли! А то возьмет ружье, и в лес пошел! А зачем пошел, какой тебе рожон по траве посреди дубьев ходить: что там, куры с поросятами водятся, что ль, иль сукно на сучьях весит! А зайчишки, а тетерьки — тьфу, что такое: если бы вы по целому возу их привозили, а то по одному, по два: угодые какое, — мне, старухе, на один жевок не хватает... да заткни ты трубу-то свою: нечего там слушать, когда я говорю!..

Старик остановил радио и умильно стал слушать свою жену дальше; возражать ей он ленился: пускай сама по себе духом изойдет, тогда и подобреет.

Но старуха начала действовать. Она схватила зайца-ребенка, прижавшегося к рогачу под печкой, вытащила животное на свет и стала его левой рукой таскать по полу, а правой бить по заду, потом по ребрышкам, где побольней, — туда злость ее выходила слаже. Будучи младенцем, заяц еще не привык к ужасу и он быстро взмок потом, но так как его тельце сильно прогревалось быстрым детским сердцем, то пот стал испаряться с его взмокшей, тесно прилипшей к туловищу шерсти, и заяц, худой и жалкий, волочился по полу в своей теплой испарине, молча бедствуя, пока старуха

не изошла своей темной силой. Тогда она подняла зайца в воздух и выкинула его за дверь на двор: все равно, пользы от него нету, пусть не гадит в избе. Заяц спрятался в траву, поплакал там немного по-своему, а потом оправил и посушил шерсть на себе, пробрался в скважину огорожи и скрылся в лесной стране, забыв только что испытанное горе ради будущей жизни.

Жена взяла у Ивана Алексеевича девочку, ее пора было кормить, она уже дремала, насмотревшись на зайца.

— Там ведь товарищ Каганович на транспорте — Лазарь Моисеевич — я знаю, — сказала старуха. — Я по радио все слышу, вы меня уж не учите! Там люди вон как теперь живут — с удовольствием, а вы что?... У, щипаные хари! — обратилась старая хозяйка к мужу и сыну.

Старик и сын попробовали немного свои лица — они и вправду были рябоватые, щипаные люди: это, однако, сойдет им безвозмездно, любить их есть кому. Умри, скажем Алексей Кириллович, и по нем самое меньшее двое людей заплачут, жена и сын. Достаточно!

— Открывай радио, — приказала старуха Алексею Кирилловичу. — Мне слушать надо, а то упустишь, гляди, такое что-нибудь и будешь темной жить, а польза мимо пройдет...

Старый хозяин включил машину; радио сказало сперва нравоучение, а дальше заиграла нежная музыка. Мать Ивана Алексеевича приложила правую руку к щеке, пригорюнилась, а потом стала улыбаться. Она желала бы быть доброй постоянно, но ей нельзя было, — ведь все поедят, попьют, износят, а мужики перестанут работать, и тогда семейство помрет от нужды, двор зарастет лесом, выйдет заяц из кустов и будет гадить, где жил человеческий род.

* * *

Иван Алексеевич Федоров заступил дежурить в ночь. Десятый разъезд был глухое место, погрузка и выгрузка здесь небольшая. Федоров осмотрел и почистил свои стрелки, исследовал с фонарем крестовины, он всегда боялся за них; паровозы тяжело бьют, вбегая на крестовину, и в ней может произойти трещина, а крушение на стрелочном переводе всегда большая беда, потому что и по здоровой стрелке поезд проходит с резким содроганием: здесь ехать составу больно. Если бы Федоров мог стать инженером, он бы выдумал стрелочный перевод поумнее, чтоб езда была гладкая. Он стал на колени и пополз от стрелочного пера к крестовине, ведя рукою по головке рельса и по поверхности катания; он искал на ощущение возможные выбоины, щербины или состроганные паровозным бандажом заусеницы. Время темное, фонарь светит бедно, поэтому ручное чувство дает более точное представление о стрелочном механизме. Никакого ущерба Федоров не заметил, есть одно небольшое вмятие, но оно не опасно.

Стрелочник вычистил с брусьев старую, сработанную смазку, и обильно снабдил все места трения новой смазкой, чтобы было погуще, почище и безопасней. Он

наблюдал, что стрелочное перо играет на богатой смазке, когда пропускает через себя большой состав, оно как бы плавает в нефтяном жиру. Пусть играет — что играет, то не мучается и, стало быть, не лопнет. Затем Иван Алексеевич вычистил и промазал балансир и попробовал его несколько раз на перекидку, чтобы весь стрелочный механизм пригартовался. Переводил он стрелку мягко, без всякого удара, так что каждое перо касалось неподвижного рельса с нежностью и расставалось с ним медленно, экономно натягивая за собою смазку.

Федоров в начале своей службы на железной дороге относился к металлу и машинам, как к животным и растениям — осторожно и дальновидно, при этом стараясь их не только узнать, но и перехитрить. Потом он понял, что этого отношения мало и недостаточно. К металлу и механизму нужно относиться гораздо более чувствительно, чем к зверю или растительности, потому что живое можно действительно перехитрить, и оно тебе сдастся, его можно ранить и на живом заживет. Машина или рельс на хитрость не сдаются, их можно взять лишь чистым добром, и ранить их нельзя, на них не заживет: они лопаются насмерть. И поэтому Федоров вел себя на службе чутко и осторожно; он даже дверь в свою будку закрывал не с размаху, а бесшумно и деликатно, чтобы не тревожить железных петель и не расшатывать в них шурупов.

Дежурный по разъезду позвонил в будку по телефону: пусть Федоров приготовит стрелку для приема скорого поезда на проход. Иван Алексеевич и сам помнил время поезда. Он уже глядел в темную просеку лесов, где лежал путь. Луны не было, слабые звезды находились высоко, однако рельсы блестели ясно и далеко, точно они собирали свет изо всей бедности тьмы, из его рассеяния во мраке. Федоров прилет ухом к рельсу и расслышал вечное пение металла — от течения воздуха, от шума дальних листьев и ветвей, заставляющих рельсы напевать в ответ. Рельсы напевали правильно, они были наверно целы и здоровы на всем протяжении. Но постепенно в их равномерный волнообразный гул вошло невнятное, постороннее бормотание. И бормотание стало все более отчетливым, настойчивым, почти выговаривающим слова; эту речь говорил молодой, поющий голос — без фальши, без звука дребезжащего раздражения, — значит, рельсы нигде не имели трещины и на стыках не было большой выработки. Стрелочник поднял голову с рельса, высморкался, отряхнул сор с одежды и сделал более важное, серьезное лицо. С юга на проход, на Мурманск шел скорый, спешащий поезд. Спокойный свет паровоза взошел из-за горизонта и погнал тьму вперед и по верху лесной чащи, освещая живые синие деревья, кустарники, таинственные предметы, неизвестные днем, фигуру путевого обходчика, сторожащего путь в темноте и одиночестве. Иван Алексеевич сыграл на рожке долгий приветственный сигнал о готовности входа на разъезд и почтительно вытянул руку с фонарем навстречу механику паровоза, своему незнакомому другу, единственному человеку, который сейчас следит за ним, будучи доволен, что все благополучно и что его ожидают. «Шибко идет, — подумал Федоров, — музыку не услышишь... Нажимает, дьявол, — опоздал минуты на четыре». При замедленном ходе скорых поездов или «Полярной стрелы» Иван Алексеевич успевал иногда расслышать радио или патефон, играющие в поезде. Несколько секунд он вслушивался тогда в мелодию, не обращая внимания на прочий шум, и успевал насладиться музыкой. Если же музыка

не играла, Федоров был доволен и тем, что удавалось рассмотреть какое-либо незнакомое странное или прекрасное лицо человека, глядящее через окно на здешние чуждые ему леса; стрелочнику было безразлично, кто это был — мужчина, женщина или дитя, — и неважно, куда ехал тот человек, лишь бы лицо у него было интересное и непонятное. Изредка Федоров подымал на пути после прохода поезда какую-либо вещь и долго смотрел на нее и вникал в ее значение. Затем он воображал человека, которому эта вещь принадлежала, и успокаивался лишь тогда, когда ясно представлял себе в своей фантазии этого промчавшегося, безвестного пассажира. Благодаря пустой папиросной коробке, ключу для консервных банок или комку ваты Ивану Алексеевичу приходилось думать о характере, лице и даже о цели жизни того человека, который только что миновал его в поезде. Однажды Федоров нашел маленький женский платок, хорошо пахнувший, влажный и со свежей кровью посередине. Иван Алексеевич попробовал влажное место на язык, влага была соленая, наверное, слезы. Ему тогда пришлось надолго озадачиться, чтобы в целости выдумать для себя таинственную милостивую женщину, обронившую платок из тамбура вагона, во время слез и тоски по своему дорогому человеку, кашляя в платок кровью от горячей чахотки в груди. Потом Федоров увидел эту женщину во сне: ее маленькая девочка прикусила до крови язык и заплакала; мать вытерла ей кровь во рту, вытерла слезы, посмотрела в открытое вагонное окно, выбросила наружу платок и улыбнулась стрелочнику. «Заведи патефон!» — крикнул той женщине Иван Алексеевич. «На обратном пути!» ответила пассажирка. «Ладно, погромче!» согласился стрелочник.

Поезд безжалостно проработал стрелку и засосал весь воздух за собой. «Ого, Каганович вас здорово шурует: из леса показался, опаздывал на четыре минуты, а на стрелке уже на три, — сообразил Иван Алексеевич, — вот это драматургия!»

Однако, теперь ни музыки из поезда сроду не услышишь, ни человека там не разглядишь. Вода из уборных раньше ручьем текла, а теперь мелкими брызгами, скорость хода рвет ее в острую пыль.

От этой мысли Иван Алексеевич стал скучным на всю ночь. На разъезде нет ни театра, ни библиотеки, есть одна гармоника у дорожного мастера, но он приезжает на разъезд редко и часто забывает взять гармонию, хотя и дал письменное обещание местному возить ее с собой неразлучно и играть повсюду в красных уголках новый репертуар, кроме сумбура, осужденного в центральных газетах. Приезжал еще среди лета член союза писателей и делал доклад о творческой дискуссии; Федоров тогда задал ему шестнадцать вопросов и взял в подарок книгу «Путешествие Марко Поло», а писатель потом уехал. Книга та была очень интересной; Иван Алексеевич сразу начал ее читать с двадцать шестой страницы. В начале писатели всегда только думают, и поэтому скучно, самое интересное бывает в середине или в конце, и Федоров читал каждую книгу враздробь — то на странице номер пятьдесят, то двести четырнадцать. И хотя все книги интересные, но так читать еще лучше и интересней, потому что приходится самому соображать про все, что пропустил, и сочинять на непонятном или нехорошем месте заново, как будто ты тоже автор, член всесоюзного союза писателей. Одну книгу под названием «Известь» — или, кажется, «Камень» — Иван Алексеевич прочитал с конца до самого начала и понял, что книга хороша, а если читать с начала, то получается неверно и маловыдержанно.

Ночью часа три не было ни одного поезда; где-то вышла задержка или авария. Стрелочник осмотрел еще раз и опробовал стрелку после прохода скорого поезда, потом зашел в будку, притворил дверь и сыграл для самого себя некоторые мотивы на сигнальном рожке. Но все это было неудовлетворительно: Иван Алексеевич хотел слушать мелодию в оркестре и смотреть зрелище в театре, чтобы иметь в душе понятие об истине жизни и видеть мировой кругозор.

Утром к стрелочнику пришла жена, Катерина Васильевна.

— Давай я тебе стрелку приберу! — сказала она. — Может, внимание обратят. Теперь обращают: ты старайся...

— Не к чему, — сказал Иван Алексеевич, — скоро сменщик придет. Без тебя обойдется, субретка какая явилась...

— Какая я субретка! — со страстью воскликнула жена. — Тебе кто это слово сказал, вчерашний день ты не знал его, ты ночью тут водишься с кем-нибудь?!

Федоров немного испугался.

— Год назад в книжке читал, королевская дочка была.

— Я знаю-знаю, какая дочка, — говорила жена. — А кто тут намедни младшую стрелочницу Федотову-то прямо на стрелке обнимал? Пришел кавалер, сел на баланс и женщину обнял!..

— Да ведь это не я был! — сказал Федоров. — Разве можно в урочное время...

— Я знаю, что не ты! — сообщила жена. — Разве я допущу, чтобы ты такими делами занимался, транспорт разваливал!

Катерина Васильевна взяла метлу и стала подметать междупутье за стрелкой, потом убрала всякий мелкий сор со стрелочного перевода и вытерла тряпкой крестовину и оба пера. Стрелка теперь была приятна, как утварь у чистоплотной старушки.

— А я нынче заявление буду писать: пусть в Медвежью Гору меня переведут, — сообщил Иван Алексеевич жене. — Там станция большая, там театр есть, клуб, кино, развитие...

— Так я тебе и велела! — воспротивилась Катерина Васильевна. — Разовьешься там, а я что буду делать? Теперь одежду хорошую продают, девки красивые стали, — возьмешь меня бросишь с семейством на Лобской Горе...

Иван Алексеевич коснулся жены рукою и осторожно погладил ей светлые, милые волосы на голове, чтобы она не горевала вперед.

— Не надо, — тихо отвела руку жена. — Увидит начальник с платформы, скажет — ишь человек нерадивый, неаккуратный какой... Придешь в избу, там и будешь гладить мою голову, — в избе ты забываешь...

Стрелочник уговаривал Катерину Васильевну.

— На Медвежьей Горе, там весело народу живет, там образование можно получить и на вид скорее попадешь!

Жена рассчитывала в уме все тайны, убытки и выгоды, как и что получится.

— А ты можешь стать знатным человеком всего транспорта? — спросила она.

— Могу, — покорно ответил Федоров.

— Ну, тогда ладно, — согласилась Катерина Васильевна. — Только я боюсь, что ты разлюбишь меня, а куда я с дочкой пойду, я уже пожилая, — мне двадцать четыре года...

Она взяла пальцами пуговицу на груди мужа, Иван Алексеевич потрогал в ответ жену за плечо.

— Не разлюблю, — произнес он, — у меня сердце маленькое, на одну тебя хватает. Ты начнешь учиться, тебе будет хорошо, ты станешь знаменитой странной женщиной.

— А ведь тебе ездить далеко до Медвежьей Горы! — сказала Катерина Васильевна. — Ты уморишься!

— Я притерплюсь, — ответил Федоров. — На Медвежьей Горе хорошо, я люблю удовольствие.

Катерина Васильевна села на рельс и еще раз подумала: «А будет ли что особенное на Медвежьей Горе?»

— Ну, пиши прошение, — разрешила она. — Пусть надбавку на жалованье дают. Чернилами бумагу не закапай, а там подумают — ты неграмотный, и надбавку сбавят.

Иван Алексеевич поглядел на жену и подумал: «Красивая она или нет? Волосы у нее черные, сама нестарая, в общем — ничего».

* * *

Начальник разъезда не стал сильно задерживать Ивана Алексеевича: пусть растет человек на большой станции, где есть театр, библиотека, интеллигенция, музыка; можно отказать человеку в лишнем рубле или в удобстве жизни, но в душевной нужде отказывать никому нельзя, иначе не станет ни человека, ни работника.

С тех пор стрелочник начал ездить дежурить на Медвежью гору. И он не бывал в семействе по двое и по трое суток, потому что после очередного дежурства оставался смотреть представление или шел в библиотеку и там читал книги в культурном зале, с восхищением посматривая на портреты великих писателей и прочих примазавшихся к ним людей; он читал книги с середины, с конца, перемежая страницы через одну и две, любимым интересным способом, и наслаждался чужою высшей мыслью и собственным дополнительным воображением. Если ум его уставал, он выходил проветривать голову; но снаружи всегда где-нибудь играла музыка, либо гармония в рабочем общежитии, либо патефон из окна квартиры зажиточного служащего. Иван Алексеевич тогда застаивался на ногах или садился на местный камень и слушал игру полностью до конца счастливый и готовый на подвиг. Но изредка музыка и чтение вдруг переставали на него действовать, даже более того — Иван Алексеевич приходил в отчаяние или раздражение, не видя той светлой перспективы, которую всегда обещала ему музыка, чтение, искусство фантазии и волнение чуткого сердца. Он вдруг как бы становился неумным и равнодушным. Вскоре же, прочтя книгу по диамату, Федоров понял, что внутри его действует противоречие и поэтому бывает с ним темная, чужая печаль. Но, поскольку это было истиной, как жалко было ему, что из истины не существует выхода.

Наконец, наработавшись, наслушавшись музыки, прочтя книги, Иван Алексеевич являлся домой на Лобскую Гору, в избу, которая превращалась в корень дуба. Катерина Васильевна встречала его в тоске и в ревностной злобе, что муж ее явно любит другую, лучшую женщину, неизвестную ей прекрасную злодейку. Злодейке все равно, что ее любовник идет обратно к жене; она свое уже получила, она ведь равнодушная злодейка. Стрелочник попробовал объяснить жене, что каждая злодейка — это тоже женщина, и, стало быть, она похожа на всякую жену.

— Все равно, — говорила жена, а Иван Алексеевич не мог догадаться, что чему равно. Жена сердилась и продолжала: — Ты вот там удовольствие себе получаешь, а стрелка у тебя грязная стоит. Как же ты в люди выйдешь, когда ж нам жизнь полегчает! Лучше б ты век вековал на десятом разъезде, там бы я за тобой глядела.

Алексей Кириллович, прослушав такое представление сына с невестой, звал обыкновенно сына на охоту — к животным и растениям: дитя всегда дорого, даже когда оно уже пожилое. Но женщины иногда сильно томят душу и заставляют сдаваться. Кто ее знает, — может так и надо, они ведь людей рожают, они хозяйки человечества, им видней.

— Ты бы, Иван Алексеевич, крушение какое предупредил, — сказал один раз отец. — Геройство теперь вещь милая...

— Обдумал тоже, пень-человек, — сказала мать-старуха, — тебе надо, чтобы малый помер.

Старик не соглашался.

— Умирать ему не время. Пускай крушение будет маленькое, так вроде нарочной шутки.

Старуха, вздохнув, говорила:

— Гляжу я на тебя, старик, и думаю себе: где я девкой была, когда в женихи тебя выбрала!

— А ты мне измени! — советовал отец Ивана Алексеевича.

— Да и придется! — соглашалась старуха. — Дай только тело наем: я ведь пышная, я статная была, я женщина хорошая... Бывало, как выйду на улицу, как топну ногой, так ваш брат и в тоску вдается... Зря мой век прошел, я бы его снова прожила! Уж и прожила бы! Да что мне тужить, я и теперь проживу, как молодая, что у нас — иль власть-то не советская...

* * *

На Медвежьей Горе Иван Алексеевич работал еще более тщательно и задумчиво, чем на десятом разъезде. Здесь, на Медвежьей, было больше руководства, больше культурности, поэтому Федоров чувствовал себя скромно и застенчиво и от застенчивости увеличивал свое прилежание. Постоянно видя могучие паровозы, точные механизмы сигнализации, слушая гул скоростей тяжеловесных поездов, стрелочник чувствовал торжество своего разума, точно он был тоже повинен во всей этой технической силе мира и во всей прелести ее. Втайне и неясно он улавливал соответствие между музыкой, книгой и паровозом; ему казалось, что машины и музыка выдуманы одним сердцем, и это сердце было похоже на его собственное.

Начальник станции знал своего нового стрелочника давно, еще когда Федоров был мальчиком и ходил с ним на охоту. Он выдержал его небольшое время, а потом назначил старшим стрелочником. Теперь у Федорова стало под рукою несколько стрелочных постов и младшие стрелочники на них. Не зная, как нужно начальствовать, Иван Алексеевич стал сперва работать за всех: сам чистил каждую стрелку, сам заправлял ее смазкой и выходил встречать каждый поезд, не обращая внимания, что поезд уже встречает второй стрелочник. Федоров все равно следил лично: правильно ли стоит стрелка и хорошо ли она работает при движении. Младшие стрелочники жили в недоумении:

— Что ж ты, Иван Алексеевич, нас за рабочий класс не считаешь, — сказали они. — Чего ты сам переводы мажешь, мы тоже здесь не в виду пустяка находимся.

— А вы можете так же делать, как я? — спросил их Федоров.

Один пожилой младший стрелочник ответил:

— Кто ее знает!... Так же, как ты, едва ли: мы лучше будем делать.

— Я там погляжу, — сумрачно сказал Федоров. — Вы тут только служите, ходите, а я чувствую.

Несколько времени Иван Алексеевич проверял работу своих младших людей и увидел, что они делают все хорошо, но не лучше его самого. У них не было понятия, что машины и механизмы — это сироты, которых надо постоянно держать близко около своей души, иначе не узнаешь, когда они дрожат и болят, не успеешь ничего сделать, пока в стрелке не раздастся треск и смерть.

Мать Ивана Алексеевича, наслушавшись однолампового радиоприемника, не стала больше жить надеждой на мужа и сына. Она взяла документ о рождении и происхождении, положила их в котомку и бросилась в ту великую жизнь, о которой она знала по радио. Старуха поступила на смолокурню местной районной промышленности, что была в пяти километрах от деревни. Она ведь уже давно страдала завистью к высшей государственной жизни, где есть теперь геройство, молодость и знатность, где юность и сила старой женщины, прожитые в старину напрасно скудно и страшно, теперь требовались вновь и находили себе возвращение и оправдание. С усердием и разумом, нажитыми в трудном хозяйстве на бедняцком деревенском дворе, мать стрелочника взялась за государственное дело на мелком смолокурном заводе. Она сразу почувствовала, что там нетрудно, что зажиточное государство вести легче, чем бедняцкий односемейный двор; и действительно, заботой старой крестьянки смолокурня стала работать лучше, программа начала немного перевыполняться, а мать Ивана Алексеевича на осень получила премию — патефон с двадцатью пластинками и кофту (юбку обещали доделать потом, когда будет получен суконовый материал).

Алексей Кириллович вдался в тоску, когда его старуха получила патефон и кофту. Он попробовал свои мускулы, погладил себе голову с умом, ощупал остальное тело: осталась в нем сила для могущего действия на славу и на премию?... А старуха ничего ему не сказала, она не похвасталась и не попрекнула: что же, дескать, дела-то ведь вот какие на свете, а ты думал, все шутки.

Старик вздохнул, взял ружье и пошел в лес стрельнуть чего-нибудь.

— Ты куда? — окликнула его жена. — Опять по кустам ходить, одежду рвать, — лучше б в кружке где-нибудь учился... А то принесет белку или зайчишку — гляди, изобилие какое!

— Дай хоть я пойду кислородом-то подышу! — отзывался старик. — Я силы хочу прибавить, чтоб работать было способней...

— Каким таким кислородом! — загадочно удивлялась старуха. — Я вот сроду им не дышала, а гляди какая вышла — ты мне теперь не под стать...

— Я старик отстающий! — соглашался Алексей Кириллович.

— Отстающий? — спросила жена. — Вернись только с охоты без всего, я тебе отстану тогда! Ты хоть в лесу-то первым будь, там же хищники живут...

Сын, вернувшись с Медвежьей горы, тотчас же попросил мать завести патефон.

— Старые носят, а молодые просят! — Выразилась мать и завела веселую музыку на пластинке. Она уже знала, как действует механика в патефоне.

Катерина Васильевна пригорюнилась и засмотрелась на мужа.

— Ты чего? — спросил ее Иван Алексеевич.

— Я ничего, а ты вот — неудельный! — сказала жена; она отвернулась лицом и заплакала: у людей и патефоны, и кофты, и мужья начальники, а у нее мало: всего одна изба, и то пополам со свекровью.

Она согнулась над колыбелью с дочерью и затихла в печали своей судьбы.

Иван Алексеевич глядел в окно, в лес: убежать туда, что ли? Начальником каким-либо он все равно стать не может — там надо думать специально. Но ведь лес тоже вырубят когда-нибудь, а в человечестве жить теперь становится все более загадочно и хорошо. По железной дороге, на платформах, везут великие машины и дворцы в разобранном виде, в библиотеке толстые книги лежат, красивые люди едут мимо в поездах...

На следующее дежурство Иван Алексеевич прочитал приказ начальника станции, что старший стрелочник тов. Федоров повышается в зарплате на пятьдесят рублей в месяц и временно назначается сцепщиком, на дефицитную и ответственную профессию.

* * *

В тихий краткий день глубокой осени, в тупиковом пути шла погрузка шпал. Человек десять мужчин и женщин поднимались по мосткам на платформы, складывали там шпалы и сходили вниз, чтобы опять брать груз на плечи. Так и шло обращение труда.

На выход тупик поднимался круто в гору, на большой подъем, туда паровозам приходилось вывозить груженные платформы, работая песочницей и форсируя топку во весь сифон. Шесть человек, целая бригада, лежали под вагонами и дремали, не тратя сил на пустую жизнь, когда нечего делать. Для этой бригады еще не подали платформы, и люди ожидали работы.

Для них старался сейчас Федоров на станции. Он подогнал паровозом порожнюю платформу к спуску в тупик и велел машинисту остановиться; дальше платформа пойдет самоходом, а под уклоном сцепщик ее примет на башмак. Чтобы плат-

форма не ушла, Иван Алексеевич подложил под один колесный скат старую бесхозную шпалу, которая лежала без назначения возле пути, и пошел снимать сцепную стяжку, чтобы освободить паровоз. Но платформа сильно отошла от паровоза, и стяжка натянулась в струну, поэтому Федоров крикнул механику: «Нажми маленько». Механик нажал, стяжка провисла, и Иван Алексеевич легко сбросил ее со сцепного паровозного крюка.

Платформа потянула Федорова от паровоза под уклон, сцепщик ухватил стяжку обеими руками, чтобы окоротить вагон, но шпала, подложенная под скат, хряпнула от хода колес, и железо стяжки начало жечь руки Федорова — вагон уже повис над уклоном, в конце которого шла погрузка. Однако Федоров уперся ногами в путевую рабочую шпалу, решив не жалеть кожу на руках — она сейчас сторит, а потом зарастет опять. У него загудели ноги от усилия в костях, его повезло волоком за вагоном, он сообразил, что пользы нет, и выпустил из рук сцепной прибор.

Внизу работали люди, населения у нас мало, — кто будет жить, с кем придется водиться, кто сыграет на музыке, если внизу вагон подавит насмерть людей... Федоров знал, что там есть и женщины, а они могут родить и тех, кто сумеет писать книги или станет прекрасен и хорош сам собою по сердцу и характеру, кто споет когда-нибудь неизвестную песню или вообразит в своей душе в будущем рябоватого стрелочника с Медвежьей Горы и скажет: жил давно один бедный человек на свете. Вагон надо оставить, иначе меньше станет людей, меньше человечности, а животных и растений очень много, но от них скучно.

Иван Алексеевич бежал рядом с разгоняющимся вагоном. Он подымал попутные доски и колья, бросал их под передний скат, но вагон сокрушал их с разгона, как ничто, и набирал скорость вперед. «Без них скверно станет на свете, их будут хоронить в гробах с цветами, страшная музыка заиграет!» решал в уме судьбу нижних рабочих Федоров. Он схватил с балласта путевой железный лом и с точным прицелом всадил его между спиц бегущего вращающегося колеса в переднем скате. Лом развернулся в воздухе и свободным концом сбил Федорова с памяти и с ног, а затем подбросило уже беспмятного человека ко второму скату и ударило головой в буксу. На втором и третьем повороте колеса лом начал гнуться и корчиться, потому что он задевал свободным концом за балласт и за шпалы; согнувшись, он впился между шпалами в песок, а две спицы в колесе взял в распор, посинел на сгибе от напряжения, от температуры и удержал вагон на месте.

Федоров лежал в песке и слышал, как машинист сказал: «Федорова зарезало!»

— Нет, — подумал Иван Алексеевич, — это неверно.

И он встал, чтобы узнать, что случилось.

— Ты живой, или — как? — спросил у Федорова механик.

— А ты? — спросил Иван Алексеевич, и почувствовал, что его правая рука вся холодная, точно к ней привязали лед и он не тает, а сосет из его тела тепло, доставая холодом до середины сердца.

— Поедем на паровозе, — сказал механик.

Однако, Федорову хотелось пить; он открыл кран в тендере паровоза и оттуда полилась вода ему в рот, а кровь из его правой руки лилась в рукавицу и в пиджак с исподней стороны, она даже пробиралась по ноге за штанами до ступней ноги. Иван

Алексеевич видит, что кровь течет безобразно, он скоро может стать совсем пустым, и велел кочегару нести ему правую руку навесу, чтоб она не вытекла вся на землю.

Потом принесли носилки и Федорова положили в них для покоя. Иван Алексеевич заметил, что с него трудно снимают сапоги, а правый сапог промок кровью, портянки разбухли и не дают сапогу сойти. «А в гробу засохнет и будет ногу жать!» подумал Федоров и заснул, чтобы не знать своей смерти.

Отец, мать и жена пришли в больницу и стояли около Ивана Алексеевича, а он их не замечал вокруг себя.

— Ванюшка, что же ты наделал над собою! — говорила мать. — Мы бы и так прожили, нам ничего не надо...

Проснулся Иван Алексеевич не скоро. Кругом тихо, постель большая, чувствуется, что здесь все культурно и научно. Иван Алексеевич не знал, есть у него правая рука или нет. Видит, что есть, лежит рядом с ним, но неизвестно — при нем ли она заодно или лежит отдельно. Он взял ее на испытание и пошевелил пальцами. Пальцы жили, значит, рука будет, а смерть давно прошла мимо.

Вскоре к нему пришли разные люди — начальник станции, парторг, жена Катерина Васильевна, фотограф, машинист, две женщины из тех, которые грузили шпалы в тупике; одна из этих женщин принесла Федорову букет цветов и две жамки.

— Он здесь сыт! — сказала Катерина Васильевна тем женщинам. — Чего вы напрасно свои деньги тратите и больного тревожите!

Женщины застеснялись и ушли.

* * *

После больницы правая рука Ивана Алексеевича действовала не вполне и слабо.

— Окалечился теперь! — говорили ему семейные. — Чем работать будешь?

— Головой научусь! — отвечал Федоров и смотрел через окно в лес: не то уйти туда совсем, не то не надо? Нет, надоели животные.

Но жена и мать относились к нему, в общем, хорошо. Сельсовет и железнодорожная власть дали Федорову денег тысячу рублей и назначили пенсию на всю жизнь.

Начальник станции через каждые три-четыре дня приходил в гости к Федорову на Лобскую Гору и готовил его учиться на дежурного по станции. Один раз на Лобскую гору поднялся автомобиль, и к Ивану Алексеевичу приехали сразу шестеро людей, которые ему привезли телеграмму из Москвы с поздравлением, что ему полагается получить орден.

Федоров не спал две ночи от сильного течения мысли, пока на третьи сутки опять не пришел за шестнадцать километров начальник станции. Но он не стал заниматься с ним наукой об эксплуатации железных дорог, а сказал только: «Давай, собирайся, мы поедем в Москву». Иван Алексеевич не стал уж ничего есть, выпил лишь стакан молока, поцеловал на дворе жену и дочь и отправился. Катерина Васильевна заплакала, она подумала, что муж ее теперь разлюбит и не вернется, а

дочь — ничего еще не понимала, но ей нравилось, когда ее целуют, она уже привыкла целоваться, — это ей стало понятно.

В следующие новые дни Катерина Васильевна сильно тосковала на Лобской Горе по мужу и часто плакала по нем, пряча свое горе от свекора и свекрови. «Он там парашютистку полюбит! — думала она. — Ведь они летают, у них личики, говорят, такие хорошие. А может, товарищ Каганович при себе оставит, где я тогда буду?» Но, вспомнив, что у мужа рука-то правая почти не действует, жена утешалась: калеку едва ли кто полюбит, теперь барышни хитрые. А орден? Орден же важней одной руки, да и рука все-таки цельная! И Катерина Васильевна опять утрачивала свою надежду.

Иван Алексеевич вернулся через месяц. Он был в черном суконном костюме, весь спокойный, точно чужой человек, и его привезли в деревню на автомобиле. Жена села перед ним на лавку и ощупала руками его самого и материал, который был одет на муже.

— Хорошо там? — спросила она.

— Хорошо! — сказал Иван Алексеевич. — Я там американку видел в метро: она коричневая.

— А красивая? — спросила жена.

— Так себе! — ответил муж.

— Ты кто же теперь? — пытала Катерина Васильевна. — Начальник?

— Стрелочник старший... Начальники ученые, а я нет.

Он вынул орден в коробке и показал жене. Катерина Васильевна орден взяла и спрятала в сундук.

— Я носить его должен, зачем ты прячешь? — сказал Иван Алексеевич.

Жена отдала ему обратно пустую коробку.

— А ты коробку будешь показывать! Перед кем тебе орденом хвастаться — мы и так знаем, а другие пусть не завидуют...

Пришла мать с дочкой. Иван Алексеевич взял девочку к себе на руки, чтобы поласкать ребенка и дать матери свободу поплакать от радости.

— А на Медвежьей горе тоже какой-то человек орден получил, — сказала мать, управившись со слезами, — семь костюмов привез, два патефона, трое часов, там добра навалил — к дому на подводе приехал со станции...

— Мне тоже пять костюмов давали, — сказал Федоров.

— А тому семь! — сообщила старуха. — Да где ж твои хоть пять-то?

— Я один только взял. Пять ведь не наденешь, надо один износить сначала.

Мать его села на пол, а жена на сундук.

— А патефонов сколько-то тебе давали? — жалобно спросила старуха.

— Давали один, да я не взял, у нас же есть, тебе дали в премию.

— А часы ручные? — томилась старая мать.

— Тоже давали... а зачем они — дома у нас ходики идут, а на работе я по поездкам время знаю, теперь график!

Мать и жена заплакали, а Иван Алексеевич завел патефон, чтобы занять свою дочку музыкой и самому послушать.

— А отец где? — спросил он у домашних.

— В лесу пистоны тратит! — равнодушно, среди горячих слез, ответила мать.

Иван Алексеевич усадил ребенка на колени к жене, вынул чистый платок и вытер Катерине Васильевне лицо.

— Не плачь! — сказал он. — я тебе восемьсот граммов московских конфет привез и библиотеку начинающего читателя!

Федоров вышел наружу и пошел в лес — искать отца среди животных и растений.